

# Вячеслав Карижинский

## Рассказы

### Болезнь Кая

Как жарко! Как трудно дышать. И только этот тяжёлый осколок льда, впившийся в мою грудь, охлаждает сердце, днём и ночью источающее жар. Вы говорите, оно воспалено, и нужно вырвать из него ледяную занозу. Тогда и рана затянется, и жар спадёт. Но я вам не верю. Порой мне кажется, что я родился с этим воткнутым в плоть ледяным кинжалом. Я без него – никто! Посмотрите, теперь это единый механизм, единая система: лёд и сердце. Единый орган... Сердце приняло нужную форму и прозрачное лезвие развернулось так, чтобы мне было не слишком больно. Да, мне нельзя любить, но что с того? От любви люди страдают – только единицы бывают счастливы. К тому же, недолго... А у меня есть здравый смысл, и хладнокровие. Я защищён от инфекции чувств. Вы говорите, у меня может развиваться рак. Какой вздор! Это ваши сердца, опьянённые сиюминутными радостями и отравленные долгими невзгодами, напоминают раковую опухоль.

А мне... мне только иногда бывает трудно дышать. Пожалуй, это единственное, на что я могу пожаловаться. Но тут помогает целебное зелье – водка. Я беру всегда одну и ту же – называется «Снежная Королева». Полдня в морозилке, и лекарство готово к употреблению. Да, после двухсот грамм мне намного легче дышать. А уж если выпью больше, то совсем хорошо! Даже петь получается. Пью раз или два в месяц. Есть, конечно, и побочные действия, но... это чепуха!

Зря, конечно, я вам это говорю. Чувствую за спиной ваши липкие осуждающие взгляды, недовольное слюнявое бормотание. Впрочем, плевать я хотел на то, как вы ко мне относитесь. Только об одном прошу – не вздумайте вызвать бригаду скорой помощи! Не помышляйте проникнуть в моё жилище! Не смейте против моей воли вынимать лёд!!!

Герда? Я не ослышался? Вы спрашиваете, где Герда? Так... она давно вернулась домой в общество здоровых людей. Работает в каком-то реабилитационном центре. Заодно по мере своих сил и средств помогает интернату для неизлечимо больных детей. Обо мне уже не вспоминает, не пишет. Впрочем, это её выбор, заслуживающий уважения. И мой выбор тоже заслуживает...

Ха! Вам так нравится говорить, про выбор. Вы так злорадно киваете головами, когда кто-нибудь из вашей компании нравоучительно заявляет о моей ответственности – то есть говорит, что я сделал собственный, осознанный выбор, следовательно, сам во всём и виноват. Сам, сам, сам и только сам! Да я и не против. Довольствуйтесь своей мещанской правотой, о судьбы мои. Вы ведь сделали правильный выбор. Вам не приходится говорить об ответственности – только похвалы да лавры собирать. А мне терновый венчик, пожалуйста, ага – вот сюда положите, на полочку возле печки. Да хоть горшком называйте – только не прикасайтесь к моему сердцу! Родители? Пишут мне письма, шлют подарки. Говорят, что будут любить несмотря ни на что. А я всё никак не могу к ним съездить. С недавних пор болят ноги. Впрочем, это понятно – в моём-то возрасте. А так, всё необходимое у меня под рукой. Как говорится, далеко ходить не надо.

Иногда пытаюсь вспомнить детство и не могу. Словно его и не было, словно жизнь моя началась с того дня, когда вековой лёд, погружённый в снежный туман, оторвался от огромной горы. Он летел, трескаясь и ломаясь. Я даже не заметил, как лавина пронеслась в двух шагах от меня. Открыл глаза – а вокруг белым-бело. И тихо так... Осколок вонзился в мою грудь мгновенно, и я не почувствовал боли. Я сделал первый в своей жизни глубокий вдох.

Сначала меня пытались транспортировать... Потом лечить. Знаете, сколько благодаря мне было написано новой медицинской литературы о том, как перевозить детей с осколком льда, как за ними присматривать, как менять простыни и какие варить кашицы. Короче говоря, делали всё возможное и невозможное, но осколок не вынимали – было слишком опасно. Я проклинал их недалёкость, но не мог высказать это словами – я ведь тогда ещё не мог говорить, я только учился дышать. Право же, славны дела твои, Господи! Сейчас я понимаю, как хорошо, что они не вырвали его из моего сердца. Мне теперь платят пенсию по инвалидности. Я живу не в глупой детской сказке, а здесь – среди вас. В тени, конечно. Но это тень ваших жилищ, ваших судеб, ошибок и достижений. Попробуйте-ка, посидев часок-другой в холодеющей тени, рассуждать о норме и ответственности. О свободе выбора – да, да! Свободный выбор это когда ты думаешь, куда бы тебе лучше съездить: на Гавайи или в Египет. А если ты делаешь выбор с ножом у горла или, скажем, с ледяным осколком в сердце, это уже совсем другое... Да что я вам говорю? Приходите в гости, поживите у меня месяц-другой. Думаю, многие ваши представления изменятся в корне.

Я не чувствую себя жертвой. И «Снежная Королева» вовсе не могучий злодей, как пишут в глупых детских сказках. Она мой джин в плотно закупоренной бутылке. Вот и настало время для бутылки. А то мне стало жарко. И трудно дышать. Прощайте, молчаливые призраки, угрюмо плывущие по улицам, напрасно заглянувшие в моё серое окно. Вы, конечно, не прочтёте это письмо, которое я завтра, сочтя вздорным, выброшу в мусорный ящик. Прощайте и идите дальше. Идите к своим...

Ваш Кай.

<2012>

# Ич-мараоч

Как трудно идти с утра по городу битым и с похмелья, к тому же совершенно голым. Чувствуешь, что весь зарос щетиной и грязью. Стыдно-то как! А ведь это центр города, не все магазины ещё открыты, а в тех, что успели вылупиться в такую рань, уж точно не нальют. Может быть, на руках у кого... Какое счастье! Эта женщина с табуреткой продаёт пиво. В руках у меня зажата мёртвой хваткой какая-то мелочь. Трёшки, десятки... Но неудобно же голым вот так - а чёрт с ним, свободной рукой прикрою... - Мне бутылку пива, - тяжело выдавливаю из себя дрожащим голосом и отдаю женщине всю охапку сразу. - Давайте пересчитаем. Да тут на две бутылки наберётся. - Да? - Ох, десятки не хватает до двух бутылок. - Не судьба, - отвечаю, как-то по-дурацки улыбаясь. - Но если Вы занесёте десятку завтра, я - так и быть - отпущу Вам две бутылки. - Да, конечно! Обязательно! Я вот здесь живу... прямо в этом доме... Клянусь! - Конечно. Завтра я буду на этом же месте. Хватаю бутылки и почти бегом удаляюсь. Как жаль, что завтра не наступит. Я не появлюсь здесь завтра и не верну продавщице десятку. А ведь мне так не хочется подводить её. До слёз хочется сдержать слово. Но я знаю точно, что она простоят весь день одна, а я так и не приду. Меня не будет в её завтрашнем дне. А если мы встретимся когда-нибудь, в другие дни или годы, я, наверное, сгорю со стыда. Я не сумею объяснить ей, что не мог прийти, и стану для неё очередным алкашом, готовым даже мать родную продать за бутылку.

Чёртова темень в подъезде! Я пристроился к одной особе сзади, а потом узнал в ней собственную мать. Какая постыдная случайность! Хорошо, что она не успела ничего подумать... - Ты опять с бутылками? - задала она полувопрос голосом только проснувшегося человека. - Что здесь творится? - Наконец-то собрались люди, будут хоронить Назиру. Всякий раз, когда я слышал имя этой твари, меня одолевали приступы ярости. Ведь именно эта особа отдала меня под суд фактически ни за что. Покой я ей нарушил, видите ли, своими пьяными криками. Но в этот раз было что-то не так. Я был абсолютно спокоен и даже не мог вспомнить когда и как она умерла. И постеснялся уточнить. Следом за тремя узбечками преклонного возраста, изредка перешёптывающимися и причитающими протяжными молитвенными голосами, ко входу в подъезд подоспел дядя Лёня. - Мам, да как же это? - я наклонился к самому её уху. - Да, жив он, этот твой... - Смотри, ма, как он изменился. Совсем исхудал и черты лица у него стали какие-то... Да он стал более походить на узбека и - слышишь? Шпарит-то по-узбекски с бабками за будь здоров. Как пулемёт. - Он изменился и в культурном отношении. В плане сознания. Мать сказала это как-то грустно и будто нехотя, словно не желала видеть в моём старом друге перемен и менять своё неодобрительное к нему отношение. Неуверенно шагнул вперёд, совсем позабыв, что голый... - Что это? - я указал на жестяную тележку с одним колесом и ручкой, которую дядя Лёня держал возле себя. - Ич-мараоч, - ответил он, - носилки, на которых мы вынесем тело Назиры. Но я знал точно, что это не узбекское слово... Что же это тогда? Издевательство? Шутка? Со стороны бабок и едва подоспевшего к ним домкома доносились разговоры. - Унинг гўрида...\* - ... выделяется из её тела? - Ич-мараоч! - Как всегда, лифт не работает, - устало сказала мать, - придётся на девятый этаж пешком... Вы идите, я поднимусь позже. - Ну что, Слава, поможешь мне донести? - впервые обратился ко мне дядя Лёня. Обратился с каким-то скрытым упреком или недовольством по какому-то неизвестному мне поводу. - Говно вопрос! И вообще... разве я когда-нибудь отказывал в посильной помощи? Можно было даже не спрашивать. Я заметил, что как будто оправдываюсь перед ним. Но за что? С чего бы это? У подъезда собралось уже человек семь.

\* В её могиле (узб)

- Унинг гўрида... - ... да, прямо из её тела? - Надо скорее, на восходе солнца! - Ич-мараоч! Неужели, подумалось мне, Назира уже в совсем некондиционном состоянии - поделом сучке. - А вы же были дружны, помнится? - обратился я свой вопрос даже не дяде Лёне, а себе под ноги. Толку-то спрашивать, если и так всё известно? Я приподнял заднюю часть носилок, в том месте, где к ним прикрепилось единственное колесо, и медленно пополз по лестнице вслед за дядей Лёней.

- Я вижу ты так устал, - сказала бабушка, стряхивая пыль с большой деревянной лестницы, ведущей на чердак. - Да как-то всё... - А у меня для тебя подарок. Забирайся скорее наверх. Тебе понравится. Там, конечно, всё в пыли и полный беспорядок. Но зато ты больше нигде в мире не найдёшь такую коллекцию книг, карт, механизмов - гениальных изобретений человечества. Я нехотя полез наверх, расчищая себе путь от бесконечных бумаг и залетевших на чердак опавших осенних листьев, оторвавшихся от ветвей в неведомо каком году. - Никто не знает об этих творениях науки и искусства, - продолжал воодушевлённо вещать голос бабушки снизу, - и имена творцов неизвестны никому. Я уверена, ты бы мог найти здесь много полезного для себя. - Чёрт, тут надо неделями разбирать завалы. Я не в силах сейчас, ба. Давай в другой раз. Уже вечерело, а дорога домой казалась неодолимой. Не повезло и с метро - краем уха я услышал от прохожих, что там, на глубине то ли был совершён теракт, то ли произошла какая-то жуткая авария с большим количеством жертв. Казалось, я даже чувствовал едкий и тошнотворный запах кала и разодранных внутренностей, поднимавшийся вслед за выбегающими по лестнице людьми. Что за день такой! Автобус. Хоть и набитый битком - не пешком же идти. И кто додумался построить прямо в городе тюрьму? Да, проезжая мимо неё, я так и ощущал что-то злое и страшное, как некое излучение... Огромная многоэтажная тюрьма Palais Magistral, клетки на камерах которой были хорошо видны из окон автобуса, располагалась прямо в центре города, напротив Алайского базара. Откуда я знаю это место? Ах да! Там, на чердаке в одной из книг была большая иллюстрация этой тюрьмы. Только всё было в красных тонах. Также там был изображён человек, поднимающийся по лестнице вверх - на нём была красная мантия и четырёхуголка магистра с кисточкой. Как-нибудь отправлюсь туда на экскурсию. Так много раз я видел это жуткое строение снаружи, мельком, что теперь так и хочется изучить его получше. Прочувствовать изнутри...

Какой чудный, безоблачный весенний день! Яркое солнце не слепит, как обычно. Дует приятный ветерок, отчего мне даже немного прохладно. И краски такие яркие... Где я? Явно не в этом времени. Эти краски были в другом десятилетии. Мы с дядей Лёней в ресторане пьём водку. Как тут здорово! Площадь огромна и большие дубовые столы расположены далеко друг от друга. Это создаёт ощущение простора, несмотря на многочисленных посетителей. Над нами тряпичная крыша ярко-красного цвета. Она колышется вместе с ветром, точно флаг всего мира или неоглядное и лёгкое небесное платье. Я пью и не могу опьянеть. Впрочем, моя необъяснимая радость сама по себе, как опьянение. Дядя Лёня молчалив и грустен, почти не притрагивается к рюмке. - Интересно, - пытаюсь я хоть как-то начать разговор, - а в этом году мы увидим караван? - Да, - пробурчал в ответ мой визави, - он уже здесь. Караван из сотни огромных черепах. Он сейчас стоит на Бродвее. Черепахи накормлены, отдыхают. А ночью он снова тронется в путь по Великому Шёлковому Пути. Будет бороздить пустыню. Это старая традиция... - Может, сбегает на Бродвей, глянем? - Да я их уже сто раз видел... Впрочем, нам скоро уходить. - Почему? А водка? Что-то на Вас это не похоже... Этот человек из другого времени не вписывался и, похоже, не желал вписываться в годы моей молодости и яркие

краски эйфории своими серыми мазками увядания. Зачем он здесь? Он что-то хочет, но не может мне сообщить?

И снова вечер. Постылый, как все мои постылые вечера. Дорога домой, петляющая по незнакомым местам. Кладбище. Я иду среди могил и натываюсь погасшим взглядом на одно из надгробий. А там полное имя дяди Лёни, две даты и чёрно-белое молодое лицо в овале. Я стою, молчу, всё понимаю, и не могу ответить. Стою, парализованный немотой. Когда-то я видел всё это во сне. В точности эту же картину - и не придавал значения увиденному. Дяде Лёне было 49 лет, когда он умер. А до того мы десять лет с ним пили по чёрному. Потом умерла моя бабушка. И домком умер в тот же год. Нет больше тех бабок у подъезда и женщина больше не торгует пивом возле дома. Я и сам теперь - кто-то другой. Кто-то, погрязший в немоте и бессилии. Кто-то, убежавший от жизни в смирение, прячась в своей болезни, точно в панцире. Кто-то, остановивший стрелки часов наяву и грезящий каждую ночь о времени, обращённом вспять, о минувших временах, ставших безусловной ценностью - нам особенно любо то, что утрачено безвозвратно. Мне дороги неприкаянность и нелепость абсурдных снов, возвращающих душу в прошлое на незримых носилках для мертвецов. Ич-мараоч. Я стою и смотрю на знаки смерти, чужих смертей, ставших сердцевиной моей жизни. И мне впервые становится страшно. Потому, что дикий гул вырастает из далёкого уличного шума и постепенно заполняет всё моё существо. Значит, скоро предстоит узнать, кто я на самом деле, по ту сторону сна. Узнать или вспомнить? В моей голове набирает чудовищную громкость невыносимый гул скорого пробуждения.

11.06.2015

# На мраморном ложе рептилии

*Памяти моей бабушки, Софьи Семёновны Шустовой, и моего деда, Николая Антоновича Шустова, посвящается этот сон наяву.*

## I

Я проснулся с невыразимым чувством беспредельной свободы и лёгкости. Глаза оставались закрытыми, но удивительные краски небывалого чуда сочились сквозь сомкнутые веки и наполняли диковинными цветовыми гаммами мой просыпающийся разум.

Каким, однако, жёстким было ложе...

Где это я оказался?

Моё тело лежало вольготно в окаменелой пасти огромной рептилии. Верхние и нижние зубы моей обители были мраморно-белого цвета, а за ними повсюду – море. Поднявшись на ноги, я вскоре отправился по воде пешком. Небольшие волны то и дело слегка подбрасывали вверх мои стопы, превращая шаги в медленный неуклюжий танец. Спустя некоторое время я оглянулся назад, на распахнутую пасть рептилии, и внезапно понял, что это как раз то самое место, где мне мечталось проснуться.

Вблизи был песчаный берег, а на берегу красовался старинный рояль, купленный дедом сразу после Второй Мировой и простоявший в отчем доме не один десяток лет. За роялем сидела бабушка, смотрела на меня, учащегося ходить по воде, и улыбалась так же спокойно, как она это делала при жизни...

Мне не удалось скрыть восхищения и удивления от всего происходящего, и, когда я приблизился к бабушке, в честь нашей утренней встречи заиграл негромкий прелюд Шопена. Не отнимая пальцы от клавиш рояля, бабушка сказала:

- Ну вот, внучек, теперь ты научился всему и умеешь абсолютно всё. Как интересно наблюдать твоё будущее, путь, пройдя который, ты забудешь всё, что знал когда-то.

Лёгкий ветер, несущий пряные ароматы трав и цветов с отдалённого холма, слегка потрепал ленточки на шляпке бабушки.

- Дед не захотел к морю выходить, - объявила она торжественно и с лёгким укором капризному супругу, - сидит, видишь ли, на холме, цветочки разглядывает. Ты подойди к нему, он тут ненадолго...

Несколько шагов отделяли меня от тенистых зарослей на побережье. Дед, как мне показалось, не выразил особой радости от встречи после двадцатилетней разлуки. - Ну как тебе тут? – спросил я, присев возле старика.

- Да тут ничего, - ответил седовласый моряк, теребя в руках сорванный цветок и глядя на морскую пучину совершенно невозмутимо, - А там вот... Там не ахти... Но это временно. Я привык уже к этим коровам с шестью ногами, к искалеченным животным. Странно это, внук... Они ведь больше не мучаются и не испытывают боли, но зачем-то сохраняют ту

форму, в которой пришли сюда. Я их кормлю... Может, они просто не хотят забывать, кем были?

- Это ведь тоже война, - уверенно сказал я, удивляясь собственным словам и не понимая, откуда взялись такие мысли, - также ведёт себя твой рояль. Он стоит вон целёхонький, как 50 лет назад, не хочет забывать, каким он был во время войны.

- Вся жизнь война, - подхватил дед, - там, где существует время, всегда идёт война.

- Мне никогда не было так спокойно, как сейчас, - ответил я, - и только твой странный взгляд внушает тревогу.

- Нет причин для волнений. Скучно и однообразно бывает, но опасности никакой...

- А правда ли, что умершие каждые 18 лет встают из могил, если так можно сказать, именно в том виде, в каком ушли, и приходят в гости? Деда, ты ведь тоже так делал... И почему только на три дня приходите погостить, ничего не рассказываете о себе, нас всё расспрашиваете, когда знаете во сто крат больше любого?

- А тебе всё хочется узнать сразу... Конечно, правда! Об этом, наверно, написано в каких-то книгах.

- Но как же, деда? Почему мы все оказались здесь, в одном месте? Ведь туда, куда приходили вы во снах, путь известен. И эти места, слегка изменённые в сновидениях, были ведь всё равно вашим домом... А я всегда во сне попадал в чужие города и терялся там, постепенно забывая откуда пришёл и куда направляюсь.

- Внучек, сейчас ты занимаешься бесполезным, даже вредным делом. Зачем тебе вспоминать свои сны? Неужели ты думаешь, что сейчас ты тоже видишь сон?

- Я смогу это сказать только когда проснусь, если проснусь...

- А вот теперь прислушайся к себе, - забавным, поучительным тоном произнёс дедушка, - когда ты спишь, то ты не в состоянии сказать однозначно сон ли тебе видится или явь грезится. Дед улыбнулся.

- Внучек, родной, это не мы тебе снились, это ты снился чужим городам и нам в том числе.

- Тогда я ничего не понимаю, деда... - мне стало очень грустно и не хотелось лишний раз озвучивать давно известный факт. Потому я позволил сделать это деду за меня:

- В том и штука – когда тебе кажется, что ты постепенно начинаешь понимать нечто, ты погружаешься в чужой сон. Когда же ты понимаешь всё сходу и не нуждаешься в логическом объяснении, ты просыпаешься... Чаще всего так. Иногда ты погружаешься и в собственный сон, согласишься, это куда лучше, чем быть в чужих снах.

- Я понимаю, деда, понимаю...

И тогда, устремив свой вечный взгляд на синие ряды волн, дед негромко запел:

На Земле слишком много гнева  
Да и пахнет ужасно тухло -  
Ты же ходишь по краю неба  
И паришь по просторам духа.  
Птиц, таким поражая чудом,  
Ты зовешь разделить отраду,  
Но с тобою лететь им трудно -  
Высоты никому не надо.  
Ну а те, кто покинул стаю,  
К горизонтам иным стремятся -  
Вы друзьями недавно стали,  
А судьба вам велит прощаться.  
Что ещё вашу дружбу скрепит  
Также прочно, как век разлуки?  
А луна молвит - чайки слепы,  
И волна гудит - чайки глухи.  
За объятия небосвода  
Одиночество будет платой:  
Только сердце вдохнёт восхода -  
Солнце склонится вновь к закату.

- Ну что, внучек, оседлаем Медовые Водопады? – спросила подросевшая к нам бабушка, успевшая за время нашей с дедом беседы расправить на песке громадный персидский ковёр, - И, конечно, чайкУ возьмём в дорогу.

- Господи! – воскликнул я, увидев на ковре старинный медный самовар с извилистым тонким носиком, - где же ты его нашла, ба?

- Ты думаешь, я забыла тот мультфильм про Али-Бабу и сорок разбойников? Внучек, твоя бабушка всегда была запасливой. Ну как не приберечь такую полезную вещь, оставленную неким недотёпой в забытом мультфильме?..

И затем мы пролетели, как показалось, несколько вселенных, бесконечность времён и воспоминаний. Наш долгий полёт нужен был для того, чтобы лучше забыть всё, что мы знали и вспомнить то, чего с нами никогда не было.

- Вот он, потехи час, - иронично прокомментировал дед. В этот момент я увидел крупные капли дождя на стекле широкого окна, услышал монотонный голос экскурсовода, рассказывавшего легенды о Медовых Водопадах Кавказа. Я был так же мал, как тогда, десятки лет назад, а мир снова стал огромным и бесконечным. Очень хотелось заплакать...

- Ну вот, ты опять начинаешь засыпать, - с укоризной сказала бабушка, но голос её доносился уже издалёка, смешиваясь со звуками дороги и дождя, оставлявшего серебристые косые линии на окнах автобуса.

- А можно мне сейчас уснуть? – спросил я едва слышно.

Мы сидели возле костра, и перед нами в сером тумане утопали сонные кавказские горы, гудели водопады

- Кого-то с нами нет, - подумал я вслух.

- Когда же ты забудешь наконец, что нет такого слова, как нет. Вот она... - дед указал рукой в сторону.

- Джерри, - выдохнул я с каким-то тяжёлым ощущением.

- Ну вот, она проснулась, - сказала бабушка, - сейчас подойдёт к тебе, попросит свежего шашлычка. Ты глянь на него – увидев нас, он так не удивлялся. Вот же засоня...

Серовато-белый калачик с вытянутой когтистой лапкой бодро приподнялся и выразительными голубыми глазами посмотрел на нашу оживлённую компанию.

- Джерри... - я протянул руку.

Всё в моей жизни всегда было наоборот, причём, в самом нехорошем смысле этого слова.

И теперь, моя умершая давно кошечка с мужским именем Джерри (так уж вышло) приближалась ко мне, то и дело потягиваясь и принюхиваясь к запаху шашлыка.

- Она ещё бОльшая соня, чем ты, - заявила бабушка и расхохоталась.

- Деда, но ты ж её даже не знал никогда, - сказал я и тут же покраснел от собственной глуповатой реплики.

- День выдался тяжёлым, внучек, - произнесла ба так медленно и ласково, как закат застилает морскую рябь, опуская усталое солнце за горизонт, - а теперь спи себе на здоровье.

Глаза закрывались невольно под гипнозом красок, воскрешённых в памяти, и забываемых с каждой секундой теней невнятной хроники прожитой жизни.

- А как же... - я продолжал спрашивать медленным тоном, - как же прощание? Здесь нет прощаний и разлук?

- Откуда им здесь взяться, - ответил убаюкивающий голос бабушки.

- Тогда почему... почему мне здесь тоже... как-то грустно?

- Спи, внучек, завтра ты совсем забудешь о праве наслаждаться всеми оттенками жизни, и той же грустью. И когда ты забудешь о том, что грусть это не что-то пришедшее к тебе извне, а твоё единственное и неповторимое проявление собственного мира, тогда ты сможешь и радость впустить. Всё ведь нам со временем надоедает, а здесь... Здесь нет ни начала, ни конца, нет времени и пути – здесь действительно есть всё, что ты можешь встречать и проживать бесконечное число раз. И необратимость это нонсенс, ей-богу.

- Это невообразимо, ба! – я всё силился препятствовать сну, поскольку не мог ещё поверить... - Конечно, ба, это может только сниться. Ну где, если не во сне, ты рассуждаешь, как профессор, с твоими-то тремя классами образования? Мне захотелось засмеяться, но никак не получалось...

- Не противься, внучек, засыпай. Завтра тебя ждут ещё встречи.

Краски в моих глазах угасали, а сиамский комочек, аккуратно пристроился сбоку и мурлыкал... Ба тихонько напевала надо мной старую и слишком уж грустную песню:

Половодье заката  
вином полнит белые розы,  
как бокалы, да кровью  
алеет на белой одежде...  
Пусть влекут тебя сны,  
но не те, что ты видела прежде -  
Твой последний покой  
не встревожат ни ветер, ни грозы.  
Пусть неясной виной я наполнен,  
и сердца не жаль мне,  
шепот трав, приютивших тебя,  
все мольбы заглушает.  
Свет уносят с собой в никуда  
запоздалые стаи -  
почерневшие строки  
извечной небесной скрижали.  
Если сон о разлуке  
житейская мудрость развеет,  
если к сердцу вернётся  
дар пламенной речи однажды,  
воспою тебя вновь,  
преисполнившись светом и жаждой,  
разбросав лепестки  
позабытой весны по аллее.  
А сейчас мне позволь  
досмотреть этот сон до финала.  
Нашу верность земную -  
разлукой лишь можно измерить.  
Я спасён,  
ведь ещё до конца  
не успел я поверить,  
Что тебя больше нет -  
это мне напевает устало  
вешний ветер неловкий -  
так небо прощения просит  
За любимых, что были...  
и будто бы не были вовсе...

## II

Я спал и видел во сне собственную эволюцию, которая происходила в то же самое время в каждой живой клетке и в каждом холодном камне по всей площади Земли. Мне открывались оранжевые цвета подземных глин, а тело чувствовало напористые потоки грунтовых вод, выносивших меня из-под земли в океан, в котором виднелись тёмно-синие тоннели подводных течений, обрисованные стайками рыб и оконтуренные причудливыми рифами.

Я превращался из микроскопической клетки в планктон, потом стал рыбой, умер во время нереста и возродился в одном из мальков. Я прожил во сне миллиарды лет подводной

одиссеи, постоянно сбрасывая старые, увечные тела и обретая новые. А после морской одиссеи наступили эры птичьих миграций, покоя в знойной пустыне, где неисчислимо множество столетий пролежал мой окаменевший скелет. А после – черепаший бег, в котором мне посчастливилось быть одним из немногих, кто добрался живым до океана.

Я вспомнил и разгадал смыслы всех посланий, которыми меня одаряли в детстве случайные предметы: старинные окна и выюны в комнате врача, от которых нельзя было отвести взгляд, непонятный шум моря-призрака в старой и сухой раковине, покрытой лаком задолго до моего последнего рождения. Я знал наверняка, откуда ко мне приходит печаль, и что она пытается мне сказать, шепча листопадами за распахнутым настёжью окном, куда смотрел мой новорожденный взгляд из колыбели. Я понимал, почему мне всегда было так интересно смотреть на изборождённые тракторными гусеницами днища высохших искусственных озёр, и почему такими знакомыми казались чужие города, по которым бродил мой дух беспокойной сомнамбулой. Я видел жизнь там, где её не стало, чувствовал присутствие исчезнувших железных дорог там, где остались только едва различимые швы на асфальте. Всё это было неповторимым и сладко-горьким сном.

- Ведь всё нам надоедает со временем, - сказал мой брат, - и потому человека всегда тянет к иллюзорному миру. Он даёт уникальный шанс представить невероятную картину исчезновения жизни. Это обман зрения, а тайна в том, что ты забыл о бессмертии и видишь перед собой конечность бытия. Ты не боишься её потому, что, хоть и забыл всё, но знаешь без объяснения. А чудо являет тебе что-то противоположное здравому смыслу, и притом, это «что-то» тебе ничем не угрожает.

Я увидел улыбку моего никогда не существовавшего брата. Он сидел с подругой в густой траве. В серебряной чаше перед ним лежали фрукты, а в чеканном сосуде было вино, тонкий, бродящий аромат которого я улавливал при каждом движении руки брата.

На голове его был рогатый шлем, а чуть поодаль лежало копье. Одежды брата и его подруги представляли собой довольно необычное, но притом весьма изящное сочетание тканей и кованых украшений из железа и олова.

Первобытность, какую почти невозможно представить себе в современном мире, ясно дала мне понять, что мы попали в то время, когда ещё не было ни известных нынче богов, ни запретов. Это было самое нравственное время во всей истории человечества. Верховными жрецами судеб были раскаты грома, молнии, матерью было Солнце, а демонами – ветры, настигавшие нас даже в густых и высоких зарослях камыша и папоротника.

Мы с братом делили фрукты, вино и ласки подруги, не зная ни стыда, ни обиды, ни зависти. Мы ели и пили до полного насыщения, и каждый вечер я засыпал на коленях сильного старшего брата, обласканный закатными лучами солнца под тихие напевы, что исполняла подруга на неведомом языке.

Проходили годы и я видел, как мои спутники стареют и умирают. Настал и тот день, когда мне пришлось оставить два недвижных исполинских тела с волосами, побелёнными луной, на съедение ветру и птицам. И прощание это было торжественным актом начала нового путешествия по долинам исчезнувших времён и возникающих из небытия миров.

Стала привычной мысль, что стоит только захотеть, и отмотается назад киноплёнка любого события, любого запечатлённого мной мира, а значит, оживут мёртвые, и встреча с ними будет в порядке вещей.

Но с каждым разом всё реже и реже хотелось отматывать фильмы назад, и даже всемогущество изменить сценарий развития от точки возврата в любом направлении перестало меня прельщать. Я стал всё больше походить на моего деда, теряя остроту восприятия удивительнейших вещей, которые могли бы сделать меня вечно счастливым. Иногда, погружаясь в печальные раздумья, я создавал бури и грозы, землетрясения и цунами, погибал и воскресал в разъярённых волнах или под гигантскими горами гор, разломанных чудовищными ураганами. И оттого, что всё это было доступно и подвластно, в моей демиургии не было никакой радости.

Тогда, в последний раз я отмотал киноплёнку до того места, где, мог, но не успел задать самый важный вопрос, получив до того верный ответ.

В густой ночи передо мной горел костёр, и дед грелся возле него. У побережья океана стояла лодка, ожидая нас, как и было положено по сценарию.

Не говоря ни слова, мы сели в лодку и поплыли назад по времени от ночи ко дню, наблюдая за тем, как за спиной садится утренняя луна, а за кромкой твёрдой воды появляются первые лучи закатного солнца.

И всюду драма млечных бликов Леды:  
рождение и смерть подводных лун,  
печали междустрочий,  
между струн  
уснувшие аккорды,  
сон во сне,  
где древней ночью предок в тишине,  
бросая искры, выпустил из камня  
горячую частицу сострадания.

### Ш

- Бабушка, зачем всё это?

Медленный прелюд Шопена мягко ложился на песчаный берег в невыразимом созвучии с прохладой лёгкого ветра, серо-жёлтыми красками невесомых камней и манящей неведомо куда пенистой синью морской тверди.

- Значит нужно забыть, необходимо забыть обо всём, чтобы одним только воспоминанием придать смысл потере? Нужно верить в свою смертность, чтобы остаться по-настоящему бессмертным?

- Конечно, - легко, уверенно и безмятежно, как то было всегда, ответила бабушка, - а ты меня не слушал. Я же говорила, что надо всё забыть, и тогда ты вспомнишь, кто ты есть...

- Значит нет счастья совсем? - я чуть ни плакал, пытаюсь таким образом убедить себя в том, что понял уже давно безо всяких объяснений, - там... там всегда боль утраты и только мгновения свободы, а здесь счастье быть самим собой и творить свой мир по собственному вкусу разрушается от понимания неизменности и всемогущества, для которого нет препятствий. И это уже не счастье, а полная обречённость!

- Всё со временем надоедает нам, внучек, поэтому мы и оказываемся то там, то здесь. Когда там становится слишком больно, мы приходим сюда и обретаем счастье забвения.

Когда счастье становится слишком познанным и в нём не остаётся тайн, мы уходим обратно туда, чтобы опять-таки забыть о своём всемогуществе. Любое знание убивает тайну и останавливает время, а вместе с ним и реки наших жизней. Лучшее средство – забвение.

- Но почему же нет середины, нет такого золотого сечения бытия, где я был бы в чём-то силён и могуч, а в чём-то беспомощен и подвластен воле случая? Почему нет такого места, в котором тайна не скрывала бы в себе опасность и не внушала бы страх, а обещала всё новые открытия, о которых я и не могу догадываться? Я слишком многого хочу?

- Есть такое место, внучек. Это место, которое ты сам назвал мраморным ложем рептилии – ох и выдумщик ты... Именно там ты проснулся и увидел тайну не как гневную стихию, а как воду, по которой можно ходить. Именно там и есть золотая середина между сном и явью, между чудом и открытием. И этот мир, и тот, предыдущий отражаются друг в друге, как в зеркалах бесконечно много раз. В том мире, где нас сейчас нет, тоже есть такое ложе. И даже там ты иногда, хоть и нечасто, просыпаешься в колыбели из зубов древнего зверя и видишь морскую синь вокруг себя.

Я замолчал, вспоминая, как редко мне там, в земном мире, снились подобные сны и как порой удавалось просыпаться в удивительной неге, когда за закрытыми глазами рождались небывалые краски яви. И на самом деле – таких мгновений было много, но они по непреложному закону ценности жизни забывались быстро и безвозвратно под грохоты утренних поездов, машин и ассонансные хоры толпы, немного опередившей меня в забвении.

Я не успел спросить, можно ли мне вернуться, так как сразу забыл о своём вопросе, увидев рядом с собой белокаменные зубы рептилии и почувствовав, как море дышит мне ласково в спину.

Я закрыл глаза, и слушал продолжение прелюда, который бабушка играла на близком, бесконечно далёком от меня берегу.

*Сентябрь 2010 - Январь 2011*

# Эпистола геронта Эроса

Дорогие друзья (мне почему-то захотелось обратиться к вам именно так), меня не существует в реальности, а для вас я не существую даже в легендах. Вы не знаете моего имени и возраста, вы никогда не видели и, слава Богу, не увидите мой облик. Всё, что я могу вам дать, это слова, которые не просят ни понимания, ни сочувствия, ни тем более помощи, но желают выразить благодарность, добрые пожелания и рассказать о том, какую неожиданную роль вы сыграли в жизни совершенно чужого и чуждого вам существа, обитающего на другом конце вселенной, отделённого от вас холодной, тёмной бездной, однако способного видеть и слышать вас.

Записи ваших волшебных, пульсирующих живым трепетом голосов и фотографии ваших прекрасных лиц бережно хранятся в моей памяти, чей ранящий гляцевый свет окружает меня днём и наполняет жизнь пронзительным, романтическим содержанием, а ночью подхватывает мою душу тысячами тёплых, ангельских крыл и уносит её в загадочный мир символов. Там я нахожу утешение, становясь одним из вас. Вы стали моей жизнью, а жизнь – гербарием красоты, лабиринтом, по которому бродит мой призрак, предаваясь самым смелым мечтаниям и постигая секреты, которые природа тайком заложила в вас. На деревьях, растущих в лабиринте, вместо листьев вырезки из газет и журналов. Иногда я вырезаю красивое лицо целиком, а иногда только удачные детали неприметных лиц. Я никогда не пытался склеить из этих деталей портрет – мне кажется эта идея совершенно дикой и смешной. К тому же, я не способен ни создать, ни реконструировать красоту, но могу схватить и запечатлеть её мимолётный огонёк. В этом, наверное, моё самое трагическое отличие от Бога, слепившего вас из бесформенной и клейкой глины своего воображения, не пользуясь при этом ни съёмкой с высоким разрешением, ни лучшей на свете фотобумагой.

Когда я отказался от обладания, я перестал спрашивать вас о душе, об убеждениях и пристрастиях. Мне не хочется знать о вас решительно ничего, поскольку теперь я сообщаю вам инобытие. Обладание стало наградой за возможность отражать внешнюю красоту других людей, ласкать языком золотистый свет волос, резонировать грудью с самыми неуловимыми обертонами юных голосов, становясь на мгновение эхом другого, случайного мира в пустом готическом коридоре. Отдавшись геометрии ваших божественных пропорций, бросающихся на меня со стен лабиринта и обволакивающих моё гедоническое тело, я часами онанирую, видя самые неуловимые детали ваших лиц: каждый волосок, каждую пору, каждый микроскопический блик... В реальной жизни, даже достигнув максимальной физической близости, не получилось бы увидеть столько естества в человеке. Вы – огромные плакаты, говорящие со мной и дышащие в макроскопическом экстазе, когда ветер вселенских фрикций раскачивает вас, как бельё на балконах чужих домов. Я смотрю неустанно и непрестанно – оттого слезятся и болят глаза, давно разучившиеся плакать.

Какое это счастье – вырывать сокровенные, дорогие моему сердцу голоса и образы из праздных контекстов земного существования и вписывать их в канву нечеловеческого воображения. Я запечатлеваю только те ваши проявления, которые считаю уникальными и прекрасными. В этом случае так легко думать о людях хорошо. И вы бы ошиблись, упрекая меня в эксплуатации или надругательстве, ибо похоть, восторг, упоение и религиозное преклонение я адресую не вам, а совершенно иному миру, сотканному из ваших теней и отблесков. Я не смогу и уже не захочу брать вас обманом или силой, мы никогда не встретимся в вашем измерении, и потому нет смысла меня бояться. Не всё ли равно, что делает с вашей тенью источающий обильную слюну призрак на другом конце

вселенной? Можете ли вы представить, что я полностью насыщаюсь крошками и объедками, которые бросает на пыльную дорогу фатума невнимательная, слепая красота?

Вам же я адресую только нежность и благодарность...

За окном, единственным во всём лабиринте, начинается океан, бурые волны которого то и дело являют моему взору дрейфующие массы некачественной пищи, бытовой мусор и тысячи выброшенных портретов, с которых в клокочущее, фиолетовое, всегда готовое к шторму небо смотрят перекошенные, уродливые, полумёртвые лица. Злость и отвращение застывают в горле комом, когда случайная волна обращает ко мне один из таких портретов. Я чувствую, как нарисованные мутные глаза холодной, акварельной слизи ощупывают моё тело, стремясь к паху; огромные ноздри-пещеры, пытаюсь всосать меня, дышат смрадом коровьей печени, варящейся в убогой лачуге, а нелепые губы кривятся в рефлекторной улыбке... Нет ничего страшнее, чем эта неуклюжая попытка улыбаться – аборт вырожденной рефлексии. Это обнажающий гнилые зубы оскал раболепного нищего, упавшего передо мной на колени. Это грязь под ногтями, неискренняя просьба, лицемерный жест судорожной слабости – это стыд, неосознанно пытающийся взвалить на меня вину за чужое несчастье – наглый обман ущербного творения, пытающегося выжить любой ценой, скверна ложного смирения...

Благо, после короткой встречи мелкие и злые волны разворачивают портрет, комкая омерзительные губы, и опрокидывают его, погружая парализованное, безвольное подобие лица в грязную, бродящую, сладковато пахнущую океанскую пену. Из неё иногда выплывают нераскрытые подарочные упаковки и праздничные конверты, одиноко раскачивающиеся на волнах, точно осколки после кораблекрушения. Это подарки, сделанные уродливым людям. Мастерство и старание искусников, изготовивших эти сувениры, не в состоянии скрыть несмываемую тень чужой убогости. Эти милые вещицы грязны уже от того, что были предназначены уродам, они пропитаны невидимым ядом жалости, удушливым запахом дешёвого мыла и пугающей белизной простыней и полотенец, предназначенных для мертвецов. На них проклятье колодцев, из которых пили заразные больные, незримые стигмы скотоложца и горячее дыхание вепря...

Всё же не могу не отметить, что мне искренне жаль славные труды чьих-то добрых сердец... намного жальче, чем...

Похожее чувство я испытывал в детстве, когда доводилось видеть во дворе разломанные старые грампластинки, которыми детвора играла в футбол, подбрасывая ногами музыку, кем-то бережно спрятанную в тончайших бороздках винилового диска. Нежная старая мелодия в порах весны, как на атласной коже красивого лица...

Я стараюсь реже смотреть в то злосчастное окно, поскольку всякий раз, возвращаясь из ада сердечной кунсткамеры, я чувствую под ногами пепел сожженных девичьих кудрей, напоминающий горстку поблекших волокон на месте истлевшего животного. В моих глазах огненным озером разливаются телесные соки жаждущих соития пьяных отроков. Но я не могу плакать, и только глотаю липкие слёзы из миндально-горького семени, оставляющего во рту острый каштановый вкус. Кроваво-молочный пот проступает на лбу...

Я так давно привык к несуществованию, что уже забыл своё имя, и мне было бы страшно увидеть собственное отражение спустя множество веков, проведённых в тюрьме антимира – поэтому в лабиринте давно нет зеркал. Их осколки превратились в серебряную пыль и амальгаму, вскипающую на коре тотемных деревьев по ночам, в смертоносные пары,

которые вдыхает мой оргазмический Бог – гальванотипист Авриль, парящий над алтарём весны в ожидании глянцевої жертвы. Я стал абсолютным числом чистой любви, нулевым приближением к абсолюту, смехом случайных разговоров, рассеявшихся в пустоте чужих домов. Мебель и посуда не смогли удержать желанное тепло редких дружеских встреч – а я смог! Я собрал со стола не пепел сигарет, а тепло тонких пальцев, недавно державших фильтр; вором вынес из реальности не капли пролитого на скатерть вина, а вишнёвый аромат несмелых пухлых губ отроковицы; горячее дыхание, оставленное на стёклах автобуса в зимний день...

Бескорыстен лишь тот, кто бесплотен. Чем больше во мне отсутствия, тем чище мои чувства и помыслы. Их благодать гонит к окнам друзей пряные ароматы осени, отобрав у надгробий листву, и ложится полуденной тенью рядом с колыбелью, рисуя на полу детской комнаты тонкие прутья ивы, упрятавшей в себе окаменелый плач смертельно больного солнца, потерявшего цвет. Я ласкаю друзей своим небытием. Каждый мой сердечный спазм, каждая эякуляция, каждый тяжёлый выдох – это добрый совет, послание миру живых людей.

И сегодня молодое племя красивых людей узнает, насколько оно могущественно. В давние времена я мог вселяться в любого и выбирал себе самую изысканную телесную оболочку. Я разжигался похотью сотен тысяч людей, вожделеввших друг друга, и после сладострастных ночей падал без сил, едва дыша, на чистый снег безбрежного утреннего одиночества. Я был совсем молод и хотел завоевать мир, владычествовать над красотой всего живого. И для этого не требовалось применять силу – достаточно было дожидаться тёмного часа, в сладких сумерках предвкушения прокрадываться в жаркие покои и слегка дуть на белёсый пушок, окружающий губы засыпающих девушек и юношей, шептать один-единственный звук – грязный, сводящий с ума звук, заставляющий щёки гореть от стыда. Мой закон плоти управлял материей солнца и земли. Сила соблазна была такова, что ангелы кусали собственные крылья, проглатывали свои сломанные перья, если, услышав мой ночной шёпот, не могли тотчас совокупиться друг с другом, и сукровица ручьями стекала из их глаз, пенисов и влагалищ. Я вкушал всё более сильные соблазны и не мог насытиться; мой голод рос, а силы уходили. Юношеское тело до срока постарело, и я, пытаясь утолиться земной снедью, очень быстро превратился в жирного борова. Было невыносимо смотреться в зеркало, и однажды под покровом ночи я убежал из дальнего света в далёкие края космоса. Чаша нечистот всего мира была выпита и тело Господа съедено – яства и непентас медленно сгнивали внутри меня, превращая оставшиеся дни моей жизни в самое страшное наказание, какое только можно было придумать – в проклятие необратимого уродства.

Однажды ко мне забрела пара юных ангелов удивительной красоты и попросила за небольшую плату предоставить комнату для любовных утех.

Должен признаться, друзья мои, вы – люди – намного красивее ангелов!

Но как терзала меня развратно прикушенная губа ангелицы, изображавшей девственное смущение, как дурманила лёгкая дрожь в руках волновавшегося отрока-ангела!

Я взял деньги и решил подождать наступления ночи. В космосе ночь – это время абсолютной темноты, которую не смогли бы прогнать и тысячи солнц. Когда же настало время, я незаметно подкрался к изголовью кровати и, выбрав момент, когда отроки беззаветно предались страсти, начал шептать... просить, чтобы мне позволили присоединиться или хотя бы только слегка касаться пальцами трепещущей груди, к волосам и стопам. Я был рад слизывать свежие капли пота, ниспадающие на простынь...

Но мне отказали... Не получилось издать нужный звук приказа и довести их до той степени бесстыдства, когда плоть управляет миром, и пустить хряка в постель – суший пустяк. Я был двуполом, но у меня не было признаков пола. Я был безобразен и стоял перед ними нагой в муках нехватки бесстыдства в самом себе. Я просил поделиться со мной телом, а мне отказали в обладании душой. Я хотел приказывать, но только мычал, произнося жалкие просьбы. Вонь лупанария разлилась по комнате, и мою голову, как раскалённая стрела, пронзило осознание того, что все проведённые на Земле годы я только и делал, что через покорение тел старался установить господство над душами. И это было роковой ошибкой. Обладать чужой душой, если и возможно, то только с её полного согласия предоставить себя во владение. Лишение свободного выбора при помощи диктата плоти не могло дать мне слияния с другими душами для их последующего поглощения...

Помню, ангелица вскочила на ноги, а я пытался оправдаться...

«Нет, - кричала она, спешно одеваясь, - ты таким был всегда, с первого дня, со дня появления на свет! Помни это!»

Бесполезны были многодневные истошные вопли, обращённые к слабо мерцающему космосу : Бог был съеден мной на Земле, и Его уже невозможно было спросить о том, зачем я был создан таким. Многодневные истошные вопли летели рвотными струями в межзвёздную пустоту и создавали океан разрастающегося уродства, рисовавшего мои бесконечные портреты и не желавшего проглатывать мои глупые подарки – напрасные взятки, что я предлагал своей памяти.

Но, дорогие мои друзья, в крошечной тьме моё зрение однажды обрело остроту ясновидения, разум стал всемогущим, а фантазии безграничными. Вы думаете, я хоть сколько изменился? Вовсе нет. Я по прежнему иступлённо хочу обладать вашими душами и телами; вопреки стыду и ненависти к своему уродству я продолжаю совокупляться с вашими отражениями в космосе. Я приютил младенцев вашей любви.

Разница только в том, что ни одно моё действие больше не причинит вам реального вреда. Я освободил вас от рабства на Земле и стал смиренным мастурбирующим скопцом. Но ещё... ещё... Я научился любить вас... Не знаю, право же, насколько эта новость может обрадовать и может ли принести хотя бы малое благо, но всё же... я хочу дать вам слова... слова геронта, которые не просят ни понимания, ни сочувствия, ни помощи, но выражают благодарность и самые добрые пожелания от совершенно чужого и чуждого вам существа, обитающего на другом конце вселенной, отделённого от вас холодной, тёмной бездной чужих домов... Я способен видеть и слышать вас.

Меня больше нет в мире красоты ... И если верить словам блудной ангелицы, то никогда и не было... Вам же выпал небесный жребий стать бессмертными субстратами весны. Помните: жизнь это самый смелый вызов миру, в котором не осталось Бога. И вы все – супер! Мой голос, упакованный в плазменную капсулу, уже летит к Земле... Не знаю, как долго он будет в пути, но определённо меньше, чем вечность!

Что же такое вечность для меня? Это прохладный морфий, медленно текущий по сожжённым венам и превращающий сингулярность моего бедняцкого пристанища в бесконечный лабиринт, где за соседней стеной всегда слышна скрипка Танатоса. Мои глаза почти неподвижны, и перед ними разрастаются неторопливые танцы утешительных видений, влекущих развоплощающегося демона в зеркальную бесконечность комнат.

О, бедный братец Авриль, ты даже в этом мире оказался некстати. Ты разжѐван, переварен и выbleван. Авриль-эрзац! Позволь же светоносным фантазмам бестиария обладать мной, поглотить меня... Ах, какое блаженство, какое спокойствие в этом злом менюэте с призраками... Вечность сна свернѐтся в точку смерти, а смерть вечности станет бесконечным танцем мѐртового сна.

Друзья мои, позвольте им, сияющим и яростным, как в первые дни земного блудодействия... позвольте божественным варварам, вскормлѐнным импульсами вашего великолепия, благословлѐнным вавилонскими царями, вести меня за руки по ночному коридору в глубину фрактального сна, в эру цветения... Там я найду утешение, став одним из вас. Одним из вас... одним из вас... Таким же, как вы... Я всегда хотел быть таким, как....

Incubus! I decus, í nostrúm, melóribus útere fátis!\* Ведите, ведите... я отдаюсь вам... я готов к поглощению вами, о избранные чада забвенной, утраченной Земли... Молю вас, танцуйте и совокупляйтесь, ведя меня в безумие вечного сна!

---

\* Ночной кошмар! Иди, наша гордость, иди! Пусть счастливой судьба твоя будет. (лат.) (Вергилий, "Энеида")

<2012>

# По дороге во тьму

Точно проклятый неведомым проклятием, он с юности нес тяжелое бремя печали, болезней и горя, и никогда не заживали на сердце его кровоточащие раны. Среди людей он был одинок, словно планета среди планет, и особенный, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако.

Леонид Андреев «Жизнь Василия Фивейского»

---

Рождение... Вспомнить всё, что было до твоего рождения и в момент оно... Такое бывает очень редко, и даже после некоего озарения, пробуждения скрытых зон памяти, когда всё, явленное тебе во мгновение ока, кажется неоспоримо реальным в силу остроты, яркости и логического соответствия со всем, что случилось в жизни потом, ты не можешь быть абсолютно уверен в том, что воображение или невероятное умопомешательство не сыграли с тобой злую шутку. Впрочем, сомнения вызывает реальность самой жизни, которую видишь словно сквозь тусклое стекло, как полуявь, по причине усталости и беспомощности, опустошающих душу десятилетиями. Нет времени и нет средства проверить. И я решил считать всё увиденное реальностью.

До рождения не было ничего, но потом в пустоту безвременья неугомонными мелкими струйками, как подземная вода, стал просачиваться обжигающий холодом грязный и зловонный свет бытия. Трудно сказать, воскрешал ли он во мне память, пробуждал ли некогда угасшее сознание или создавал их заново из тлеющих воспоминаний всех тех, лежащих в земле, в чёрной пустоте, разлагающиеся тела которых обвивали эти бесчисленные струи. Быть может, они, как губки, впитывали в себя мысли, воспоминания, страхи, истории жизни мертвецов, оказавшихся на их пути. Свет пронизывал холодом и болью то, что готовилось стать мною, и от нестерпимости их я впервые широко раскрыл глаза...

Я ещё не знал, что я человек, у меня ещё не было имени, но уже была судьба, было прошлое, словно умышленно навязанное кем-то. И был тоннель, белый кафель на стенах, как в больнице или морге, клацанье железных инструментов где-то вдалеке. Моим первым знанием стало то, что я буду бояться этих кафельных стен и металлических звуков всю предстоящую мне жизнь. Тоннель был по колено в мутной воде, от которой подымался тошнотворный сладковатый пар. Никто не гнал меня вперёд, никто не отдавал приказаний, но я знал, что необходимо идти вперёд, что обратной дороги нет - и как ни сопротивлялось во мне в ужасе и панике то, что, наверное, и есть душа, я шёл...

Медленно брёл вперёд, замечая, как разрастается во все стороны выложенный белым кафелем тоннель, как зловонная вода поднимается всё выше. Вот она уже накрыла плечи и тронула подбородок... Приглядевшись, я увидел стену, до которой мне нужно было добраться - уже не дойти, но доплыть. В стене несколько белых дверей без надписей и номеров - одну из них мне предстояло открыть. Но как же я доберусь туда, если не умею плавать? Ответ возник сам собой: "как хочешь, так и добираться". Парализованный страхом, я простоял несколько минут неподвижно, а когда смрадная, грязная вода начала затекать в уши и в нос, я, издав крик отчаяния, бросился в её пучину и поплыл, как-то поплыл...

Когда не дышать стало невыносимо, я запрокинул голову и, широко раскрыв рот, начал глотать холодный, влажный воздух, пахнувший лекарствами и сукровицей. Я уже был за одной из этих дверей, лежал на спине, пытался отдышаться, зажмурив глаза, поскольку высоко над моей головой ярко светило солнце, имевшее форму хирургической лампы.

– Победителем стал сперматозоид номер тринадцать, – произнёс чей-то насмешливый голос, – теперь ты знаешь цену победы. Ну что, поползём дальше без лекарства? Поползём головастиком, поползём молодцом, поползём карапузом...

Сейчас я понимаю, как ужасно было тогда – когда во мне ещё не было никакого сопротивления чужой, навязанной воле. Таковым могла быть способность хотя бы разозлиться, разъяриться. Но я, полностью парализованный ужасом, ещё не знал, что такое злость и обида. В таких случаях обычно дети кричат во всё горло «мама!». Но я не знал ещё этого слова и не умел звать на помощь.

Меня легко подбросила и швырнула в другую комнату какая-то исполинская сила. Я не решался осмотреть комнату, продолжая жмурить глаза, и только слышал разговоры где-то надо мной, на большой высоте.

– Так и запишем, рождённый в пятницу тринадцатого.

– Почти рождённый...

– Именно! И пока есть время, нужно подготовить все нужные бумаги.

– Нужны всего две: состав преступления и обвинительный приговор. Остальное не имеет значения, да и кто там будет проверять...?

– Это самое занимательное – придумывать человеку его историю. Новую и новую вину. А порой так и хочется написать, что за неимением состава преступления обвиняем новорождённого в невинности. За неимением адекватного наказания назначаем наивысшее.

Гулкий смех прокатился грозной волной и долго затихало эхо его в казавшемся бесконечным тоннеле из белого кафеля.

– Кто я? – были первые слова, произнесённые мной после того, как я таки осмелился раскрыть глаза

– А это уже зависит от тебя, – произнесло склонившееся надо мной огромное и распухшее лицо.

– Кто ты?

– Я? Я – Бог!

Лицо разразилось громким смехом, переходящим в гомерический хохот. Смеющаяся пасть забрызгивала меня обильной вязкой слюной.

– Мать, забирай! Проведешь его через эту комнату и – добро пожаловать на свет божий!

Я открыл глаза. Это был не сон. В конце рабочего дня я всего лишь прислонился щекой к прохладному оконному стеклу автобуса, за которым накрапывал осенний дождь, и закрыл глаза. Я осознал, что не сплю, и мог в любой момент прервать череду неприятных видений, только что явленных мне. Но не стал этого делать. Великой жаждой моей на протяжении всей жизни было узнать правду о себе. Казалось, все вокруг её знают, даже птицы и деревья, но, словно вступившие в заговор против меня, скрывают её. Почему...? Что могло бы измениться в мире от того, что слабое, не приспособленное к жизни существо вдруг осознало свою роль в этом безумном бытии? Ему бы не хватило смелости свести счёты с жизнью. Оно не смогло бы даже смертельно загрустить... Утомительные безрадостные годы бездарно таяли в страхе и беспомощности, время отрывало от них куски ещё не дописанной истории моей жизни: места проживания, имена приятелей, врагов. Наконец, оно отобрало и самых близких. Смердная вода страха превращалась в спиртное, а ужас осознания собственного положения тонул в слабости и сне.

Все эти комнаты, соединённые тоннелем, я проходил в детстве. Очередной победой «сперматозоида номер тринадцать» было глотание зонда. Чтобы не видеть поднимающейся по пластмассовой трубке поток желудочного сока, я брал в руки медицинские зажимы и кружил ими в воздухе, представляя себе самолёты.

– Эх, сами напросились, мамаша, – вещал безразличный голос медсестры где-то сбоку от меня, – не бывает у трёхлетних детей язвы.

Она ошибалась – зондирование подтвердило наличие язвы. Следующей комнатой была хирургическая. Годы спустя я с иронией вспоминал о ней, как о парикмахерской, где вместо ножниц – скальпели, а в железных боксах не отстриженные волосы, а ошметки плоти. Там, где медперсонал обслуживал одновременно по пять-семь человек, мне удалили аденоиды и гланды.

Невыразимый страх и белый кафель сопровождали меня все последующие годы. Мне было страшно входить в незнакомые двери учреждений, не то, чтобы нырять в крытый школьный бассейн, но даже находиться в его огромном белом здании, где царило эхо голосов, окриков, смеха и плача – где-то надо мной, на большой высоте... Всё это выделяло меня из толпы, а она в ответ презирала меня, насмехаясь и дразня. Я рос одиноким и нелюдимым, избегая всевозможные конкурсы и соревнования. Мне ненавистно было всегда проигрывать тем, кто ловчее, здоровее и, конечно же, счастливее меня. Однако и образ победителя, баловня судьбы был мне омерзителен. В тринадцать лет я побеседовал по душам с одним из иерархов церкви и в тот же день возненавидел Бога. Вернувшись домой, я сорвал со стены портрет Христа, нарисованный кем-то и подаренный моей набожной матери, и разорвал его на мелкие кусочки, а потом осыпал их плевками и проклятьями. С годами душа моя дряхла и атрофировалась, отяжелённая обидой, злобой и горем. И только разум, не тронутый увечьями жизни, вёл меня по пути познания себя и явленного мне мира.

Радостное «привет» неожиданно прозвенело совсем близко – будто маленький железный колокольчик ударил в оконное стекло. Конечно же, это Марта ловко вспорхнула по ступенькам в автобус и села напротив меня. Дивная Марта, жена моего бывшего одноклассника, удивительно тонкая натура, умная и красивая, точно девушка из какого-то невиданного северного племени. В её красоте было что-то такое, что не увядает с годами, нечто благородное и сильное – смотришь на неё, тридцатипятилетнюю, а видишь всё ту же отроковицу, какой была она в восемнадцать лет.

– Поздновато ты с работы...

– Сегодня особый день, – тихо ответил я, – и работа мне только предстоит...

– Ты снова навеселе? – фальшивая улыбка пробежала по её лицу. Как я не люблю, когда честная, добрая Марта врёт – пусть даже не словом, одним только взглядом... Дабы выйти из неловкого положения (раньше всегда выходил я, но только не теперь) она начала что-то рассказывать о своём проблемном муже, о планах на лето. А я впервые в жизни решил бесцеремонно прервать её словесную защиту.

– Помнишь наш школьный выпускной? Все эти дурацкие балы, цветомузыка. Помню, как на вопрос о выборе профессии, я ответил «хочу стать палачом». Никто не понял, ошибочно решив, что я неудачно пошутил.

На лице Марты проступила тревога – но тут же, лёгким кивком головы была сброшена. Будто густая прядь стряхнула её, вернув на место лица прежнюю маску дружелюбия.

– Ну, мне пора выходить.

– Пожалуй, мне тоже...

– Но тебе ещё три остановки...

Казалось, спешно выскочив из автобуса, она старалась поскорее слиться с уличной толпой, но я шёл за ней, не отставая.

– Ну что? Что тебе нужно от меня? – пройдя несколько метров, недовольно спросила она.

– Мне нужна только правда.

Станным образом, сам не знаю, как, мы оказались на широкой безлюдной площади. Дождь припустил вовсю и мы, казалось, несущие на плечах всю тяжесть осеннего неба, медленно и бесцельно брели вперёд. Я знал, что она беременна, но разглядеть смог только сейчас.

А ведь это ты мне подарила первый поцелуй в тёмном подъезде...

– И в тот же день сказала, чтобы ты ни на что не рассчитывал, что не люблю тебя! Какая чёртова правда тебе нужна ещё?

– Почему он?

– Да что за вопрос! Как я могу ответить на него?

– Отвечай, как есть.

– Не могу...

Я достал из промокшего кармана плаща пистолет и снял предохранитель...

– Боже! Это ещё что? Где ты это взял?

– Говори правду и ни один волосок не упадёт с твоей головы.

– Я не могу...

– Тогда я задам тебе наводящие вопросы. Отвечай честно... Тогда, в юные годы ты предпочла его потому, что он был красив?

– Да...

– Ты знала, что я верный, а он...

– Знала.

– Важна была только личина? Его шаблонная, смазливая внешность принца на белом коне?

– Да.

– А повзрослев, ты согласилась на штамп в паспорте потому, что он зарабатывал больше других?

– Да.

– Спасибо за честность, Марта. Ты справилась прекрасно, не испортив наш последний вечер оправданиями и рыданиями.

– Какой к чёрту последний вечер...?

– Ответь на последний вопрос. Однажды ты сказала – не мне, но я прослышал о том позднее – что я не умею любить. И что вряд ли кто-то полюбит меня. На удивление, ты оказалась, абсолютно права. Всё, что я хочу знать – почему? Как ты, юная пророчица, могла знать об этом тогда? Что такого во мне, что видно вам всем, но не видно мне?

Я– Нет, я не буду этого говорить... Это уже слишком. Ты пьян и уже гонишь.

Лицо Марты заметно побледнело, казалось дикий страх пробежал по нему.

– Это, быть может, самый главный вопрос всей моей жизни! То, что я тщетно пытаюсь понять уже многие годы, три десятилетия. Помоги же мне понять...

На минуты-две воцарилась тишина, только тяжёлые и мутные дождевые капли барабанили по асфальту. После недолгого раздумья Марта, казалось, собралась и посмотрела мне в глаза. Смотрела она как будто сквозь меня, с её лица спало напряжение. Теперь и глаза, и голос её выражали лишь холодное, усталое безразличие.

– Есть такие люди, знаешь... – начала она сбивчиво – люди, в которых нет огня, нет ничего, что могло бы привлечь взгляд, задержать внимание. В тебе нет простоты и радости бытия, которая способна заразить улыбкой всех вокруг. Да, твои веснушки не хуже, чем веснушки других, даже принцев... Но представь себе, как выглядят они на сухой, мёртвой коже... Да, внешность у тебя, как и зарплата, скажем так, заурядная – но дело даже не в этом. Будь ты хоть Аполлоном, всё равно смотрелся бы неживым, как статуя из гипса. А потом, когда мы стали взрослее, в нас проснулось другое. И пошли мы другими дорогами. Мне потом уже не важен был принц – мне нужен был добытчик, победитель. Понимаешь?!

И тут гримаса злости исказила лицо Марты, голос сорвался на крик – ужели она злилась на себя?

– Взрослая, настоящая женщина чувствует победителя сразу и ощущает мощь его хуя ещё до проникновения. Понимаешь?! А размер кошелька, бывает, и того важнее, намного важнее... Это ты понимаешь?! Да какой там! Ты же вообще не жил! Ты не участвовал в жизни!

Я смотрел на неё молча, не мигая, сохраняя абсолютное спокойствие...

– Говорю честно, одно время думала о тебе и мне было жаль тебя до слёз. Я даже чувствовала себя виноватой. Но в чём? Нет здесь моей вины. У каждого из нас свой путь – путь, который мы не выбирали. Нам только казалось, что мы выбираем. Но этот выбор был сделан задолго до нас теми силами, что стоят у истоков самой жизни. А мы – мы лишь своими ртами озвучиваем их выбор, ставим их подписи под своими именами. Ты смотрел на меня, да и доселе смотришь очарованным взглядом. Да пусть же тебе будет утешением, что душонка моя не соответствует внешности. Ты успел поцеловать меня до того, как моя душонка открыла свой жадный рот, голодный до денег... Теперь ты знаешь, как дурно пахнет моя душа... Запах хуже, чем из грязного рта... И это моя беда, мой путь. Так давай просто иди! Иди, ни о чём не прося и не жалея...

– Спасибо, Марта. Теперь уходи...

– А ты...

– Сейчас же! – выкрикнул я и выстрелил в воздух.

Марта, обхватив плечи так, будто её внезапно пронзил холод, бросилась бежать и вскоре скрылась за близким горизонтом, за туманной стеной дождя.

До исполнения приговора оставалось два часа – время, достаточное для того, чтобы влить в себя ещё одну бутылку крепкого алкоголя и мысленно подвести итоги. Когда не стало моих самых близких, я думал, что ужас и горе испепелят меня в одно мгновение. Я не мог себе представить, каково оказаться без последней опоры в жизни. Думал и корил себя за то, что сам не смог стать им опорой на старости лет. Мне вспомнилась история, слышанная в детстве, об одном взрослом мужчине, которого за ручку водила по улицам престарелая мать. Она ходила с ним по всем городским инстанциям, оплачивала его долги и получала его зарплату. Но вот однажды она умерла и следом, спустя два-три дня умер её взрослый сын. Со мной же случилась другая история, нечто прямо противоположное. Оставшись один на всём свете, я вдруг оледенел внутри. Полностью утратив чувство страха, я начал нешуточно заигрывать со смертью. Как ребёнок с матерью соединяет пуповина, меня с этим миром и с моими близкими связывал только страх. Страх, изувечивший мою душу ещё до рождения; страх, который я привнёс своим появлением на свет. Смерть близких будто обрезала пуповину страха, освободив меня. Я стал хозяином собственной жизни и теперь дописывал последние страницы её сценария.

– Хозяин, всё готово, – пробурчал голос в трубке телефона, – объект на месте, подходите через час.

Забредя вглубь осеннего парка, заметно раскисший от хмельного зелья, я глянул на часы, присел на скамейку, засыпанную мокрой опавшей листвой и задумался. Мне настойчиво казалось, что в этот миг я не один.

– Как бы ни было в жизни больно, – вдруг послышался голос отца, – а бывает, выйдешь утром из дома, пройдёшься по весенней улице, наслушаешься птичьего щебета, и так становится радостно жить. И это чувство сильнее боли, сильнее тяжести прожитых лет.

– Неужели такова наша последняя встреча? Чтобы спорить? Странно, почему, слыша пение птиц, люди не понимают, что это поют миллиарды маленьких смертей, раскрывших голодные клювы?

Мне казалось, я на миг закрыл глаза, вслушиваясь не в слова отца, а в его голос, стараясь запомнить его, как можно лучше. Но вот, с тихим шелестом возле меня на дощатую скамейку приземлился очередной, оторванный осенью мокрый лист. Я раскрыл глаза – никого нет рядом... Где-то вдалеке прозвенел школьный звонок, и следом поток детворы привнёс в небогатую палитру звуков свой звонкоголосый гомон.

– А меня ты помнишь?

Этот голос я услышал, точно в полусне, и узнал его сразу. Конечно, это ж тот самый мальчишка, что лежал со мной в одной палате, на койке возле окна. Добрый, шутливый, жизнерадостный мальчишка, отдававший половину своего обеда голосистым мартовским котам. Они так привыкли к этому, что в назначенный час собирались кучкой под окном нашей палаты и, вытянув головы, замирали в ожидании снеди. Мы так и прозвали вечно голодную компанию – «мартовская котовасия».

– Прошло много лет, – продолжил мальчишка, – но я ещё не выписался. Врачи говорят, что нужно ещё немного подлечиться, что осталось немного. Они всегда так говорят... А я всё расту. Мне уже семнадцать лет. А вот возьму-ка я да схвачу тебя за плечо!

Он впился тонкими пальцами в моё левое плечо, и я невольно вздрогнул от неожиданности, и тотчас мы оба рассмеялись.

– Мне до этого говорили, что нет ничего надёжнее, чем плечо друга. А и не мог себе представить, что это... Теперь же ощупал твоё плечо и – знаю. Это здорово!

На миг я спросил себя, а помнит ли он, как я выгляжу... точнее, выглядел тогда, и паренёк ответил сходу, будто прочитал мои мысли.

– Я помню тебя. Зрение покинуло меня чуть позже. Я помню, когда увидел тебя впервые... Помнится, ты подкрался сзади к моему трёхколёсному велосипеду, хотел запрыгнуть на сиденье, и вышло так, что мы попытались сесть одновременно. Велосипед перевернулся, а мы оба повалились на землю. И не ушиблись нисколько, зато потом долго смеялись над оказией, не могли остановиться... А потом я перестал видеть. Не знаю, зачем они держат меня в неволе, мне даже кажется, что незрячими глазами я вижу мир лучше...

– У каждого из нас своя неволя, – ответил я, сразу же пожалев о сказанном.

– Есть только одно чудо, которое я не познал, и это очень меня печалит. Девичий поцелуй. Ты мой единственный друг, расскажи мне о нём. Что это такое? Опиши во всех подробностях... Пока нас не слышат больничные поварихи и гримза медсестра. А то браниться будут.

Повинуясь спонтанному сиюминутному порыву я на миг очень легко прикоснулся губами к его губам и после заявил решительно и даже торжественно, будто верил своим импровизированным словам:

– Всё начинается с этого. И это главное. А дальше, друг мой, мечтай, отпустив фантазию и руки в свободный полёт. Да, всё начинается с простого прикосновения нежности. Оно есть исток всего, что тебе ещё предстоит узнать... Ты обязательно узнаешь! Стало неловко от своего вранья. Вдвойне горько было понимать, что оба мы бессильны: я, утешающий его этим враньём, и этот паренёк – я вспомнил, что он умер много лет назад, не дожив до совершеннолетия. Это воспоминание острой болью пронзило мне грудь, и я открыл глаза. Ещё один мёртвый лист упал возле меня. И никого не было рядом...

Странное сочетание детского смеха, грубых окриков и плача донеслось до меня. Оставалось совсем немного свободного времени, и я пошёл на звук. Я шёл и пел. Так пел когда-то древнегреческий поэт Теогнид:

Вовсе на свет не родиться - для смертного лучшая доля,

Жгучего солнца лучей слаще не видеть совсем.

Если ж родился, спеши к вожделенным воротам Аида:

Сладко в могиле лежать, чёрной укрывшись землей.

Гурьба мальчишек повалила на землю полную девчонку, рыдавшую во всё горло. Её очки слетели и разлетелись в дребезги под их ногами.

– Жирная сучка, вонючая свинья! Получай! Не обосралась ещё? А ты... давай, снимай скорее на телефон!

В глазах на миг потемнело, но звуки пинков и окрики быстро вернули меня в чувство. Я достал пистолет и начал стрелять в толпу детей, не целясь. Зачинщик был мной ранен в ногу – я сразу узнал его. Подойдя к нему вплотную, я наступил ему ногой на горло и прорычал:

– Ах, я люблю смотреть, как умирают дети. Получай, жестокая, злорадная тварь!

И выстрелил ему в лоб. Почти все остальные из кодла обидчиков успели убежать. Девочка, дрожащая и глотающая слёзы, размазывая ладонями растёкшуюся по лицу тушь, опираясь локтями на два подстреленных мной детских трупа, приподнялась с земли и сказала мне:

– Я больше не могу... так каждый день...

А потом, изменившись резко во взгляде, добавила скороговоркой:

– Уходите туда... я им покажу другую дорогу.

– Не бойся за меня. Живым они меня уже не найдут.

В назначенный час я был на заброшенной стройке, где нанятые мной крепкие ребята из местной банды присматривали за моим заклятым врагом, связанным по рукам и ногам.

– Как много было вас, паскуд, – сказал я улыбаясь зло, глядя в ненавистное мне лицо врага, – часть из вас подохла собственной смертью, другие разъехали по миру, поменяли имена и паспорта – поди их найди теперь... Но вот есть ты, рожа. В своём первозданном обличии. И сейчас исполнится моя многолетняя мечта.

– Слышь ты, псих поганый, ты ещё не знаешь, кто я такой. Тебе это с рук не сойдёт, я тебя урою, сука ёбаная!

Первым выстрелом я превратил в кровавое месиво его правое колено, вторым – левое. Последующие два выстрела лишили моего врага локтей.

– Запихните ему в рот кляп, – сказал я бандитам, – уж больно громко визжит эта свинья. Подняв его подбородок рукой, я увидел на лице врага искривлённые от боли тонкие губы, покрытые пеной. Почему-то не к месту в голове завертелись мысли о Марте, но я отогнал их от себя мгновенно.

– Что ж ты орёшь-то, как баба, а? То же мне мачо, в жопу ёбаный...

Казалось, время остановилось, и в моём распоряжении была вечность. Я мог бы пытаться врага всеми мыслимыми способами. Но в какой-то момент понял, что совсем не хочу этого. Мне хотелось просто стоять и наблюдать его муки. Больше всего хотелось, чтобы телесная боль была для него несравнимо меньше ужаса, что легко читался в его глазах.

– Сегодня проигравшим признан кусок дерьма номер сто восемь. Ему нужны теперь лишь две бумаги: обвинительный лист и приговор. Остальное не имеет значения, да и кто будет проверять...? Когда-то этот мерзавец начал переписывать историю мира по своей прихоти. Он наказывал ради садистского удовольствия, придумывая всему живому фиктивную вину. Новую и новую вину. Порой, за неимением состава преступления своей жертвы он обвинял её в невинности. А за неимением адекватного наказания назначал наивысшее. Он думал, что он победитель. Он думал, что он – Бог...

Я перезарядил оружие и всадил в живот врага ещё две пули, пущенные наугад.

– Но Бога нет. И если вчера его роль исполнял ты, то сегодня мой черёд. Итак, господа присяжные и заседатели...

По банде пробежал смешок.

– Я обвиняю эту скотину в каждом недобром слове, произнесённом мне, моим друзьям и близким. Да и вообще всем.

– У тебя никогда не было друзей, сука, шизофреник проклятый! – прохрипел мой враг.

– ... в каждом незаслуженном грубом слове и взгляде; в том, что тебе, мразь, всё сходило с рук, что всё в этой жизни валялось тебе в руки даром, незаслуженно, а ты только и подставлял небу свою ненасытную пасть... Манна сыпалась и сыпалась в неё, и само небо ждало, когда же ты, наконец, подавишься и захлебнёшься. Но ты жив, ты пережил всех, над кем глумился ранее. Ты – средоточие всего, что я ненавижу! Я обвиняю тебя в твоём существовании, в том, кто ты есть и что ты есть. И приговариваю тебя... к жизни. Отныне она будет совсем не той, что прежде.

Я приказал одному из громил выколоть моему врагу ножом глаза, затем лишить его рук и ног. Затем, этого же урку я попросил остаться, а остальных распустил.

– Что Вы намерены делать, хозяин? Может, этих... как свидетелей, убрать?

– Нет, чем больше свидетелей, тем лучше. Твоё задание таково: собери ошмётки в пакет и доставь его брату этой скотины. А ещё скажи ему, что ребёнок, которого носит Марта, не его, а мой.

– Это же самоубийство! Он же здесь одна из главных шишек. И ребёнка он угробит...

– Всё верно. Не задавай больше вопросов и не перечь мне. Делай, что говорю.

Я передал ему толстую пачку купюр и быстрым шагом направился домой.

Только холодный разум, тщательно идущий по дороге познания истины, от вопроса к ответу, способен на Действие. Действие – с большой буквы. Всё остальное – напрасная возня, бесцельная трата нервов. Суета сует и томленье духа, как говорил Экклезиаст. Я успешно освободился от страха, и сердце моё обрело покой, уподобившись чёрной комнате в подzemелье, куда не может проникнуть ни единый луч света. Осталось избавиться лишь от усталости, от неизбежного *taedium vitae* – навязчивого отвращения к жизни, которое рано или поздно одолевает всякого, кто постигает её суть. И мой освободительный план работал.

Подходя к дому, я услышал пронзительные крики Марты – её ребёнку, зачатоу от брата моего врага и только что проколотому кинжалом, отныне не суждено родиться. Я избавил его от злой и беспощадной игры в жизнь. Меня самого принялись искать даже раньше, чем я думал. У входной двери уже ожидал его разъярённый брат...

Как сладостны эти последние воспоминания по дороге во тьму, в спасительную пустоту смерти. Я практически не чувствовал боли. Кусок ржавой трубы в руках брата моего врага отбивал от меня плоть, осколок за осколком. Думающий, что наказывает меня, изувер пробивал мне путь к свободе. С густыми потоками крови из моего рта вытекли зубы и осколки раздробленной челюсти, последний удар проломит мне череп, и сознание угаснет.

И ничего, как оказалось, в этом нет страшного и необычного. Последним, что я видел перед тем, как красная пелена накрыла мой разум, были грустные и, казалось, пустые глаза Марты, испуганная полная девочка с растёкшейся и размазанной по щекам тушью и мёртвые осенние листья, облепившие одинокую скамейку в парке, прибываемые к земле нескончаемыми потоками дождя.

<24.05.2016>

# Ступая во свет

*Какой-то важной сути лишены, От страха отвыкая постепенно, Мы движемся по гребню тишины – Стремящиеся вырваться из плена – Туда, где небо, тая пустотой, Хранит упругий вес тысячелетий, И времени беспмятный настой Спасает от следов житейской плети: Ночных огней, плывущих по воде, Любви, сомнений, снов кроваво-чадных... И там, где страх уйдёт в небытие, Родится свет – глухой и беспощадный.*

## Василий Тюренков «Свет»

Рано или поздно стрела отнюдь не бесконечного времени, пущенная первыми грёзами и юношескими мечтами, достигает цели, именуемой старостью, что ожидает каждого из нас где-то там, за линией горизонта значимых событий. Достигаемая всегда неожиданно для нас цель знаменуется необратимостью малых и больших перемен в жизни, надвигающихся с ускорением снежной лавины: первыми морщинами и проседью на висках; слишком быстрым опьянением от вина, напоминающим переутомление, когда сохраняя ясность ума, ты вдруг напрочь лишаешься сил; лёгкостью отказов от привычных соблазнов и удовольствий, утративших силу действия; невозможностью и, – что намного печальнее, – нежеланием, как раньше, всю ночь напролёт читать любимые книжки, бродить по пустым улицам и паркам, вслушиваясь в звуки дождя или бречание старых любимых песен в наушниках; отказом от волнительного плена бесприютности собственных, конечно же, несбыточных сердечных устремлений ради пресловутого душевного и физического комфорта.

Я удивлённо замечаю, что огонь в чадающем камине – прирученный безропотный страж одиноких зимних вечеров – стал дороже неприкаянного звёздного света, дрожащего от холода или космического плача и всё ещё зовущего в непокорённую высь меня, ныне уже ничем не обеспокоенного, лишь слегка грустного и внутренне опустошённого. Полуживое пламя огня бросает свой мертвенный свет на утонувшие в сумраке и пыли стены, по которым, точно засохшие вьюны, протянулись жилки телефонного провода. Я обрезал его у само пола, и густая паутина, накрывшая угол комнаты, окончательно скрыла от глаз моё нежелание отвечать на чужие звонки. Просто надоели старые игры в дружбу. Сейчас я не скажу определённо, почему не оборвал связи раньше, когда понял, что на свете не бывает дружбы – есть только нужда в других людях, нужда, иногда обоюдная, но отнюдь не бескорыстная. Это легко понять, если отследить её истоки и всмотреться в глубь её мутных вод. Возможно, боялся одиночества. Однако же, по-настоящему я перестал его бояться, когда нашёл в себе уверенность обрезать проклятый телефонный провод и пожил какое-то время в вакууме безлюдья. Пожил и понял, что это самая удобная и приятная среда обитания.

За окном невысокая сломанная ель – единственное дерево в опустевшем саду. Несколько лет назад я похоронил под ним своего последнего друга, пушистого питомца. Возвращаясь мысленно к тому чёрному дню, с неясным, но сильным ощущением вины понимаю, что утратил счёт годам. Словно между тем днём и сегодняшним провал абсолютного беспмятства. Нет ощущения, что это было вчера, хоть воспоминания ярки – этот день видится далёким. Беда в том, что все последующие годы невозможно вспомнить. Что я делал потом, о чём думал, чем жил...

Спешно и нервно открываю ящик стола и вынимаю из него кипу пожелтевших писем. Это письма бабушки, последние письма, написанные незадолго до её смерти – я их сохранил и перечитывал не раз, снова и снова укоряя себя в том, что не успел увидеться и сказать нужные слова. Так постепенно, одно за другим ко мне возвращаются воспоминания. Собираюсь положить стопку писем обратно в стол, и вдруг из неё выпадает фотография, на которой запечатлено памятное лицо незнакомого человека. Где же я видел эту незнакомку, в каком году, в какой соцсети? Помню точно лишь то, что распечатал и сохранил себе фото на память. А ведь у неё было имя... но я не записал его на обратной стороне фотографии – не счёл нужным. А теперь испытываю необъяснимое, жгучее желание вспомнить его. Имя чужой судьбы, которую упустил, с которой, возможно (и тогда я думал именно так) у меня не было никаких шансов пересечься.

В необъяснимой тревоге закуриваю сигарету, прокашливаюсь, и в памяти начинают всплывать сотни таких утраченных, встречавшихся ранее на жизненном пути безымянных символов: строчки позабытых стихов, кадры из фильмов, фрагменты картин и обрывки мелодий. Судорожно набиваю всё, что смог вспомнить, в поисковые системы – и ничего не нахожу. Меняю варианты запросов поиска, подбираю бесконечные синонимы – но, увы, напрасно. А потом у меня перед глазами возник бледный отрок в чёрном одеянии. Он вырвал своё сердце из груди и бросил его в ледяную воду зимнего пруда. Синие глаза отрока оглядели местность и выбрали тьму непроходимых лесов, черноту голых ветвей и сырой земли.

С ощущением гибнущей вселенной, стремительно сжимающейся до размеров точки, чувствую внутри себя растущее давление пустоты, составленной из этих безымянных осколков: лиц, слов и песен – из миллиона упущенных шансов. Всепоглощающая и всепроникающая, эта пустота пробирается к самому ядру личности в неистовом желании взорвать его. В глазах темнеет, кружится голова. Кладу ладони на глаза, слегка давлю на них, и за веками становится светло. Бледный, слегка желтоватый свет, какой бывает разве что в полдень осенью, медленно растворяет мысли и чувства, обволакивая их, как обломки кораблей, своей сонной густотой и погружает в себя. Перед тем как уснуть, я пытаюсь успокоить себя банальной мыслью о том, что в жизни каждого человека, дабы он не утратил интерес к её прелестям, должно быть что-то, что нельзя разгадать, нельзя познать, вспомнить, вернуть. Голод как двигатель прогресса...

И я вижу себя во сне голодным бродягой, идущим с нищенской сумой по шумной праздничной площади чужого города, где сытые люди говорят на незнакомом мне языке. И вдруг слышу песню – ту, что полюбил в далёком детстве. Слышал её лишь раз и потом забыл. Но вот она снова звучит из огромного рупора над моей головой. В кафе на открытом воздухе, мимо которого я иду, за пластмассовыми столиками сидят весёлые люди и напевают мою любимую песню. Но я не могу никого спросить о ней, ибо не знаю языка. На родном языке я тоже разучился говорить. Все слова мира утратили для меня смысл, став птичьим щебетом и собачьим лаем. Я отвык от слов и утратил голос. Выхватываю у кого-то недопитую бутылку, опустошаю её залпом, мгновенно пьянею и падаю в слезах на чужеземный асфальт, под ноги прохожим. Я уверен, что больше никогда не услышу свою песню; что всё, именуемое душой, жизнью моей души, вот-вот закончится вместе с последним куплетом. Просыпаюсь рывком, вскакиваю с кресла и подхожу к запотевшему окну. Прислоняю лоб к холодному стеклу и медленно закуриваю сигарету. А в саду за окном снег безвременья облепил безымянную сломанную ель. Амбивалентный, слепящий своей белизной снег, видный даже во тьме непроглядной ночи, лишь подчёркивает окрестную темень. И я надеюсь, что под этим средоточием холода, словно под одеялом, тепло всем тем, кто отдал себя земле.

Часто вспоминаю лето одного незапамятного года моей юности. Тогда вечерние моционы по берегу речки с моим приятелем, студентом, заканчивавшиеся распитием портвейна, а то и чего покрепче, были своего рода ритуальным действием, знаменовавшим отрешение от дневных переживаний, суеты и погружением в вольные раздумья. В какие бы дали философской мысли ни уводили нас беседы, одно чувство, не покидая, сопровождало обоих – ощущение покоя, пребывания будто за кулисами жизни. Останавливалось время, и мы переставали быть участниками событий – лишь смотрели на них со стороны слегка заворожённо. События минувшего дня мерцали бликами на речной глади, рождаясь и умирая в неспешной игре жёлтого света фонарей и плёсового течения, всегда уплывая в неведомую даль. Говорили мы о литературе, музыке и кино. Однако я не смогу вспомнить ни одну из бесед. В памяти остался только этот созерцательный покой, редкие волосы и круглые очки моего приятеля, моё с трудом скрываемое восхищение его умом и эрудицией. Из всех его речений, многие из которых были воистину гениальными, мне почему-то запомнились лишь случайно брошенные на подпитии реплики, казалось бы, не высшей степени важности...

– Это система, – однажды изрёк мой приятель, – вода, песок, осколки стекла под ногами, наши переживания – всё это система, экзистенция, живущая по своим причудливым, нечеловеческим правилам, которые мы вряд ли когда-нибудь осмыслим. Люди исполняют её программы. И потому на фоне безбожного и неисповедимого хаоса, каким эта система видится предвзятым взором человека, нас будет постоянно преследовать неутолимое желание нащупать хоть какую-то связь между нашими видениями и нами самими. И тут не помогут ни приборы, ни логика. Ведь невозможно измерить электрическое поле неизбежности, вероятность любви, силу трения мысли и тяжесть судьбы. Линии на ладони и линии розы ветров не пересекаются. Также бессмысленно, к примеру, задаваться вопросами о семейном счастье цифры восемь в союзе с буквой «я», о шифре в дрожании крыльев умирающей птицы и о последнем слове осеннего листа, упавшего на пыльную дорогу. О! Даже самые безумные из поэтов не в силах нам помочь. Лишь *занавески небосвода интимно-голубого тона скрывают ужас пред бездонным*. [1] Так сказал поэт.

Ответ моему приятелю возник сам собой спустя годы. И я бы мог проверить его верность, доведись мне случай вновь прийти на берег реки... Есть ли ещё на земле эта река? Кажется, будто она исчезла с того дня, как не стало моего приятеля. Если безумен вопрос, то и ответ на него должен быть не менее безумным. Мой ответ безумен и прост: нужно найти единственное в округе дерево, единственный, ещё живой осенний лист на его ветке и развернуть его в направлении ветра. Это очень непросто сделать, но если удастся, то мгновенно изменится окрестный ландшафт, передвинутся дома, дороги и холмы, а река, как и само время, потечёт вспять. Тогда людям станут известны все тайны экзистенции, и мой приятель, возникнув из пустоты, вздохнёт облегчённо, выйдет из-за кулис театра жизни, улыбнётся и достанет бутылку портвейна. Однако всякий раз, пытаюсь представить себе его, воскресшего в нынешнем времени, я вижу вместо лица лишь бледный эскиз, на котором чётко прорисованы только глаза. Их взгляд укоряет меня в том, что я так и не смог решиться сойти на конечной остановке былой эпохи наших встреч и не ступил на дорогу нового времени. Это безусловно так, и я понимаю, что нас прежних никак не может быть в сегодняшнем дне. Мой друг истлел в земле, а я уже совсем не тот, кем был тогда. Нынешний я – это тот, кто перерезал телефонный провод, чтобы избавиться от частых звонков приятеля, кто предал его в беде, спасаясь от собственных проблем бегством от себя и от мира.

Но я, чёрт возьми, не хочу учиться на ошибках прошлого, решительно не хочу – во всяком случае сейчас – осмыслять этот опыт. Мне нужно только найти заветный лист – рычаг времени и пространства, ключ от театра жизни. Прокручиваю в голове снова и снова

выцветшую плёнку воспоминаний и в последнем из них вижу, как по реке в полупрозрачной дымке плывут трупы бабочек, усыпанные бледно-розовыми лепестками облетевшей сирени. Так нас покидало последнее лето...

Нынче за окном гудит метель, а в камине трещат сырые поленья. Выпив вина, я укутался в плед и закрыл глаза, вслушиваясь в эти зимние звуки. Мне вспомнилось, как однажды, похожим декабрьским вечером мать рассказывала мне о том, что скоро весь обитаемый мир изменится, придёт новый мир, в котором уже не будет зла и страданий. Она многие годы ждёт этого пришествия... .. и мне в фантазии привиделась небывалая благостная картина, будто этой зимней ночью во всём мире воцарился уют и покой. Все люди и звери в тепле и сытости, никто не замерзает на дороге, не болеет и не мучается ни душой, ни телом. Мне чудилось, что мир погружается в безмятежный сон. Две струи побежали по щекам, и я рассмеялся. Только мне нет покоя под луной. Что ж, в таком случае есть повод выпить ещё вина.

Всю ночь я грезил о сотворении мира. В его сценарии не было богов – только неистовство сил природы: изрыгавшие пенную лаву вулканы, великие землетрясения, обнажавшие пылающие недра земли, опустошительные ветры и наводнения, сдвигавшие с мест и крошившие исполинские деревья и скалы. Над пиршеством огня и воды кружили первые плотоядные птицы, огромные свинцовые крылья которых закрывали солнце и полнеба. Смерть была обыденной и неотъемлемой частью самой жизни. Я видел глаза умирающих птиц, сбитых гигантскими волнами цунами и вихрями пламени, их распахнутые клювы – видел, что птицы не бежали от боли и не боялись смерти, хоть и знали о ней. И как жалок человек, тратящий годы на бегство! Человек-творец, скупаемый внутренней пустотой, не позволяющей ему пребывать в сотворчестве с миром, прокалывает ножом ладони и кровью пишет портреты чужого прошлого на холодных стенах своего не востребованного настоящего. Моё сердце, кажется, умерло; агонизирующий разум мечется в центрифуге воспоминаний, в хороводе напрасных мыслей, как белка в колесе; мои ладони не заживают...

Конец моей истории наступил также неожиданно, как однажды, выйдя из-за горизонта значимых событий, ко мне явилась преждевременная старость, пронзённая стрелой закончившегося времени. Я проснулся в своей машине, жмурясь от яркого дневного света. Свет был повсюду и за окнами машины не было видно решительно ничего. Даже солнце, ярчайшая точка мира, окутанная его желтоватой густотой, утонула где-то, в недостижимой вышине. Свет содержал в себе все ответы, все недостающие фрагменты памяти, таинства, запечатлённые лица, песни детства – всё то, чего недостаёт личности для обретения целостности. Свет молчит, не называя своего имени, испытывая мои смелость и волю тишиной. Возможно этот свет – смерть, а может быть, – начало нового пути. Узнать получится, только выйдя из уютной пустоты.

Медленно опускаю руку на дверную ручку, приоткрываю дверь. Что бы ни ожидало меня там – одно лучше медленного увядания последних, потраченных впустую лет. Лицом и плечами чувствую нисходящее тепло, слышу несомый лёгким ветерком острый и пряный запах разнотравья. Покидаю кабину машины, транспорт отжившей эпохи, и ступаю во свет...

*Entrer dans la lumière Comme un insecte fou Respirer la poussière Vous venir a genoux  
Redécouvrir ma voix En être encore capable Devenir quelquefois Un rêve insaisissable [2]*

-----  
[1] Стихотворение Бориса Пастернака «Шопен. Прелюдия 15 Des Dur»

[2] *«Ступить во свет, как глупый мотылёк, вдохнуть золу, встать на колени перед вами. Вновь обрести свой голос и уметь на время стать недостижимой мечтой»* (**Didier Barbelivien / Дидье Барбеливьен, перевод В. Карижинского**)

22.12.2016